Сергей Михайлов

жизнь во все стороны

Человек садится в постели ночью. Он не знает себя, он внезапно болен. К нему обращаются сверху снизу:
- Теперь не молчи, скажи, что знаешь.

Темно в его голове и снаружи Темно, как с ребёнком бывает в детстве. Он боится выдать себя молчаньем — Говорит, что знает. И засыпает.

Пойманный мотылёк

Она качала твою колыбель. Когда она отходила, ты плакал. Возвращалась потом – постепенно.

Не балуя. Не отпуская. Засыпала кошка. Хомячок. Попугай. Пойманный мотылёк. Первые шаги вы делали вместе — было весело, как летаешь.

Но вдруг умирал бушевавший всю ночь сосед, незнакомый далёкий родственник, заставивший маму плакать, кто-то, уехавший в кузове, в кукольном домике, впереди оркестра, — она выбегала с тобой на улицу, взлетала на дерево, подбиралась ближе.

По одному забирала она стариков. Одних ты боялся, с другими был неразлучен. Проводы их одинаково навевали скуку. Вблизи – узнаёшь и эту сторону смерти.

Позже она показала тебе букварь, чтобы ты мог её встретить в книгах — не только в дворовых играх.

- ...Этот стоял на воротах.
- ...Тот был всего на год старше.
- А помнишь, вы с ним дрались? Он всегда побеждал.
- Как это было? Мне мать сказала... Я сам всё видел! Очевидцы были в большом почёте. И хотя тебя не было рядом всё, что они говорили

И хотя тебя не было рядом, всё, что они говорили, ты словно бы знал заранее.

Она	теб	se p	acc	ка	3a.	па									

С годами – всё глуше голос, но ближе шёпот. Простые слова конечно, вчера и тихий обдают сердце холодом. Сама тишина – обольщает... Истончается телефонная книжка. Иссушается память. В кругу знакомых – одни прорехи. Даже самые близкие ей теперь уступают.

Это – время финала: чёрной-пречёрной ночью на чёрной-пречёрной улице, застав тебя одного, она подойдёт, наконец, и тихонько сзади накроет глаза ладошками девочки, утонувшей, когда вам было – сколько? где? неужели было? – и ты стоишь, ты гадаешь – пойманный мотылёк.

После ночных баталий, После ночных кошмаров, Пьянок и сатурналий И ножевых ударов, После бессонниц лютых Выжившие не все, Спешат на работу люди В хрупкой своей красе.

А я им иду навстречу, Мне с ними равняться не в чем: Я сдал эту ночь без боя — И был до утра с тобою.

А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, думают одни. А мне бы в мальчика хорошего влюбиться, думают другие.

А у одних вторая жена и третий ребенок. А у других совсем никого не осталось.

Приснилась Лия Георгиевна, Пашина мама. С ней был кто-то ещё из недавно умерших.

Смерть исказила их лица. Но сон изменил их – гораздо сильнее: вдруг они стали недружелюбны.

Что-то они говорили мне, за что-то ругали. И не хотели оставить с собой ни на минуту.

Сон закончился скоро.

Вряд ли он имел отношение к чувству моей вины перед ними: не были мы близки, и ни в чём я не виноват.

Вряд ли сон был пророческим: никогда я не славился интуицией, умру не скоро ещё, да и гнали меня, не звали.

Сон был простым – и проста его отгадка: я боюсь смерти, только и всего.

Озёрная школа

Игорю Савостину, Андрею Тозику

Мы взяли пол-литру, орешков и пива, И, всяк предвкушая законную треть, Мы выбрали пруд и спустились с обрыва К воде – на непуганых уток смотреть.

А солнце палило без шуток, по-майски, И холм был похож на большой каравай На блюде воды с окантовкой из ряски... И кто-то сказал, не стерпев: - Наливай!

Налили. И пиво пустили вдогонку. И, первый орешек тугой надкусив, Молчали. И ветер, играя, легонько Волну наклонял в аккуратный курсив (Волна полоскала бутылку от колы, Пытаясь то выплюнуть, то проглотить).

- Вот так начиналась Озёрная школа, - Сказал тот из нас, кто умел говорить.

Мы хмыкнули. Тот же, кто, как говорится, Сбривая свой профиль, не брился анфас, Ответил: - Допустим, что все повторится. Но что начинается здесь и сейчас?

На пруд опустились две дикие утки. Вода расступалась у них за кормой. Мы молча смотрели. Бежали минуты – И время бежало от нас по прямой.

Последний, с бутылкой, отмерил остаток И бросил, пустую, в прибрежный тростник. И, точно в траве наших тел отпечаток,

Вопрос растворился. Ответ не возник.

Exegi monumentum

Я памятник. Я сам себе гранит. Коль скоро время растирает камни В песок, меня оно не сохранит.

Я весь умру. Сгорят мои слова И в памяти чужой, и на бумаге — В осенних парках тихая листва...

Угаснет спор меж прахом и душой – Я пригожусь обоими по праву Величины и в сумме небольшой.

Я жил как все. Как всякий, замирал В толпе – с лица *всеобщим* выраженьем (Так минерал похож на минерал

Одной породы). Я всегда мечтал Быть ниже трав и тише вод безмолвных, Точнее – ими быть, среди начал

И мира этого прекрасного основ – Частицей малой, лучше самой малой. И путь мой к этому блистательно не нов:

Пройти сквозь жизнь и сбросить, как пиджак, Себя, приобретённого случайно. А шаг из памяти – то мой последний шаг.

Игорю Белову

И всё же берёт тоска, едва отпустил вокзал. И слово, что не сказал, мерещится у виска.

А сказанное – что дым из топки чернее сна. Ехал – была весна, вернёшься седым

на волосок, чья длина — мера всего и вся. Где-нибудь колеся — «Жизнь до чего ж длинна!» —

выдохнешь, как вздохнёшь. И, чтоб забыть верней,

в два уголка загнёшь эту страницу дней.

Умирало лето, тихо тлело, Сентябрём окончиться хотело.

Золотым дождём ещё струилось. Откупалось, что ли? Не скупилось,

Неумело с жизнью расставалось, Ничего ему не оставалось –

Дня, ни полдня. Только понимало Лето, что такому лету лета – мало.

Ах, ему хотя б ещё полстолька! Столько сил оно таило, света столько

Не излило – и томилось этим даром, Точно подозрением, что даром

Было здесь и быть не уставало, Так любило жить, что жизнь давало,

И теплом и негой угодило, А теперь вот угасало, уходило

В мрак и холод, сбрасывая зелень Как улику нежности на землю.

...И Земля, уже полунагая, На бок повернулась, как Даная, После жаркой встречи засыпая.

Техника речи

Переломать все кости в языке – чтобы говорить свободно.

Одну всё-таки оставить – чтобы не лукавить.

лучшее в этой жизни я испытал во сне

летал без страха дышал под водой разговаривал с мёртвыми любил тебя не таясь

сон мой счастье моё

снами уходим снами уходим поодиночке разлуками и размолвками врозь умираем

с глаз долой и из сердца а между тем из жизни и средства передвижения орудия быстрой смерти

как её много право какая она какая и рядом да не увидишь пока назад не посмотришь

пока в себя не заглянешь пока во сне не проснёшься

если бы у сердца были руки оно бы тебя удержало оно бы тебя приручило

но сердце моё безруко сердце моё дыряво оно тебя впустило и вытолкнуло с кровью

Дерево с профилем адова пса на въезде в Ольштынек (если мы не ошиблись).

Шановне паньство ходит в ближайшую церковь (та ещё помнит, что было на месте дерева раньше).

После проповеди и хорошего покаяния им нужен отдых.

Паньство располагается под деревом.

И здесь (в тени от пёсьей головы) ими овладевает сон.

Метафизика

Когда человек закрывает глаза, лицо у него исчезает. А что человек без лица? Ничто. Он сам за лицом исчезает.

Давно я угадывал, что смотреть и быть увиденным — это одно и то же. Теперь я нашёл тому доказательство! Платон был бы мною доволен.

даже если время покатится вспять этот мир останется миром утрат

как же будет мне одиноко после первой встречи с тобой

Ревнивый сон

Ты изменяла мне снилось мне весело зло умело то с одним то сразу с другим свободно напропалую при не задёрнутых шторах в слепящем свете

Заворожённо следил я за вами прикованный к окнам болью что терзала спящее мирно сердце

Как если бы я любил тебя

Как если б дневная боль искала простого смысла

Короткий блюз

Утром, как я уезжал, встречный ветер клонил деревья, трещал в кустах, морщил озёра и реки. - Что ж ты наделал? - качал он моей головой. Сокрушался: - Что делаешь?

Вечером, как возвращался, не было ветра в помине, стихло в лесах, безмятежные воды сопровождали меня всю дорогу, - Посмотрим-посмотрим, - молчало всё, затаясь, - Что теперь с ними будет...

Бежал за счастьем так, что стёрты ноги: волдыри на пятках.

Догнал ли?

Счастье никуда не уходило.

Физика (фрагмент)

...лишённый массы подобный мысли светлый сперматозоид бога

живой фотон...

Новое искусство умирать

1 альбом чужих фотографий узнаю себя вспоминая

2 сердце болеть перестало спросить его не успел о ком

3 казалось капель так похоже стучали часы всё тает

Поле пустыня

всё один к одному как говорится или по писанному дружный исход вещей

на полпути от аванса к зарплате кончились деньги съедена колбаса и постное масло на донышке пасту зубную из тюбика зубами не выдавить пропали нитка с иголкой из петельки выпала пуговка а в туалете газета «зож»

это повальное бегство пленной разъединённой материи в чистое поле с точки зрения пальцев песка в пустыню

До

остаётся музыка

нетленное тело угасшего чувства не ведающее ни до ни после холодное и пустое

непорочное сладострастие ветхозаветной памяти о чудотворстве

лучезарный зародыш коснувшийся кромки жизни и повернувший обратно

??

у неё умирает муж и несчастье с ребенком из чего она заключает что наказана за что? думает она и легко находит за что

теперь она кается посещает церковь и отказывает себе в остатке счастья

что же ходи она в церковь прежде и будь несчастной

остановилась бы та машина и не встало бы дорогое сердце? думает сослуживец

Аристотель. Том 4-й

потому что там была «поэтика» мне его дал учитель истории когда открылось что я пишу компенсацией за одиночество

кажется он тоже был одинок неженат нелюдим странен (по его латинским заметкам на полях книги о цру я заподозрил его в шпионаже) потом он стал завучем или даже кем-то там в городском управлении компенсировав безуспешное одиночество

теперь одинок аристотель его 4-й том сохранивший память о трёх предыдущих и может быть предчувствие следующих за ним остался в библиотеке моих родителей пленником крепышей панфёрова и мусатова во втором ряду на верхней полке и его отеческий академизм по-прежнему притягателен и непроницаем

Отец

1

У отца стали бабушкины руки кожа провисла глубокими складками как театральная кулиса

Гулкая пустота за сценой

Эти руки многое успели сделать прежде чем стать пустыми хорошего и плохого

Что сыграно ими никто не знает

Тайна жизни великая милость темно на сцене и занавес почти опущен отец отворачивается к стене

Тает на глазах смуглое тело подростка

 - Мама – говорит мне отец – пора мы с тобой всё пережили осталось только себя идём же

Я возьму тебя на руки

2

Был вздох наполовину стон во сне больному неспокойно

Я обернулся никого постель другая некому стонать

Спокойный новый сон забрал больного

Я вспомнил понял это точно

Стонала явь её простые звуки вдруг стали голос

Дыхание дня вернуло что исторгала ночная боль

Человека

Вот когда – так мне хочется думать – отец получил свою жизнь в полное распоряжение. Теперь он ею владеет единолично – настолько, что может вернуться и занять любое в ней место. Уже навсегда. И хочется думать, что это будет наш тенистый балкон, увитый сплошь виноградом, густо, как южное небо, усыпанным тугими горошинами, горящими в потоке благословенного солнца безмятежного и бесконечного летнего полдня. полвека назад... Но нет, жизнь его тогда уже была омрачена, и он пойдёт дальше в свою молодость, к своим друзьям и подругам, когда нас у него ещё не было, в невероятное время подслеповатых фотографических карточек, холщовых брюк, широких пляжей, аккордеонов, горячих, вихрастых, свободных людей, задумавших жить вечно. Он снова будет одним из них.

И вот, что я думаю – как ни хочется думать иначе: мы не владеем теми, кого мы любим, нет, ни жизнь их, ни смерть не в нашей власти, и воля их – может быть, одна только воля – то, что мы и способны им дать. Вернуть.

Ткань

Здесь, на этом диване на этом вот покрывале (из него текло) умирал отец

Теперь здесь хорошо пишется (льётся) ну что я могу поделать

Видимо близость смерти чужой всегда смерти как лицедейство творчество гены молекулы память

(Пот моих детских ног на покрывале этом и если вспомнить глубже бабушкина сукровица)

Подвал

Когда разобрали подвал куда он спускался как в самого себя с фонариком и огарком свечи —

на свет извлекли

дощечки шурупы крючки дырявые рыболовные сети крабьи скелеты зонтов нутро ископаемой радиолы на лампах прожжённую плащ-палатку точильный круг свёрла ключи рукоятки

детали сломанного механизма жизни

а к ним почти ещё новый бошевский запускатель с западающей кнопкой пуска

взгляду открылась

глухая кирпичная стена цвета сердечной мышцы

выхода не было и здесь тоже

Вербу поставили в воду три веточки на Вербное воскресенье, все в пушистых почках.

Через неделю ветви пустили побеги – нежные зеленые усики – вверх, вверх!

Обещали новую жизнь... В пустом воздухе нащупывали грядущее... Им поменяли воду... Сладкой была их смерть.

Выжили те, что росли под окном — из чёрной, влажной, тяжёлой земли, где корни раскинулись по сторонам темноты —

вниз, вниз, вниз.

...И когда подступает час произнести самые главные слова, на человека обрушивается тишина, в которой всякая, даже совсем незначительная, мысль громыхает, как тысяча медных тазов.

Слушая этот шутовской набат, человек понимает, что время ещё не пришло.

И речь к нему возвращается.

Но где не я

мне кажется что ничего не происходит но рядом что-то происходит постоянно и дальше там где я не вижу там тоже что-то с кем-то происходит и что-то страшное непоправимое становится

я же знать о том ничего не знаю и стараюсь об этом не думать потому что помочь всё равно не в силах потому что все мы под богом ходим и вот здесь я с миром но где не я

там родные там всё каждый миг может быть не быть

Сбор грудной № 2: листья мать-и-мачехи, корни солодки, листья подорожника большого. Показания. Противопоказания. Побочные эффекты.

Сбор сердечный № 1: седина матери, улыбка дочери, благодатный живот любимой. Неприкаянность. Гиперчувствительность. Душевный непокой.

султаны тёмные скелет огня деревья по обочинам дорог ветвей другого рода никак — а март уже — не загорались не разжимали детских кулачков с весной

и тогда он сделал новый забег на шаг отступил – искусный атлет – задумав прыгнуть дальше поднял из-под земли сошедший снег ознобил разгорячённый мускул

и в этом спокойном шаге безупречно продуманном чуде земное стыдливо себя узнало и в озябшие пальцы деревьев мы любовь свою положили

После этого

и знакомы-то они были как говорится шапочно и пересеклись однажды только в компании и сказали друг другу два слова не больше

однако же после этого стало

к нему стоит о ней подумать возвращается ясный тихий вечер из раннего детства

а у неё чуть увидит его или услышит обязательно где-нибудь или синяк или ссадина

В ней жизнь остановилась.

Жизнь прошла — она не родила. Не то, что, знаете, не хотела или избавлялась. Или не здорова. Нет, здорова, но... Поначалу как-то не сложилось. А потом уже было сложно.

И эта сохранённая в себе, никому не данная, жизнь

росла в ней потихоньку всё это время, набухала, тяжелела и опускалась из-под самого горла в низ живота, как будто проглоченный эмбрион.

В ленивом её, стареющем теле она взаперти не заглохла, она искала, в какую бы форму отлиться, чтобы как-нибудь безболезненно выйти. И выбрала форму боли.

В последнее самое время жизнь изнутри рвет её на куски. Она страдает. Но – тихо и трепетно, словно только теперь стала женщиной, матерью, акушеркой

боли, падчерицы, сироты.

<в тот самый миг>

когда его губы спалила морозная вспышка спрайта расправив сухое горло и вскинув нарвалий мозг

мягким эхом раздался колокол на покровской церкви в тусклые хоры которой грянуло солнце

он болезненно смежил веки и распознав совершенство муки последних дней стал бесконечно счастлив

Водоворот

Что с ней случилось, он понял на завтраке — когда из-под очищенной скорлупы появился вспученный желток в ошмётках плевы. Подавив отвращение, он медленно съел яйцо, допил чай, встал из-за стола и провёл этот день в созерцании (всё вершилось само собой), несколько раз возвращаясь за стол — вновь раскрошить скорлупу до мельчайших фрагментов, до мутной плевы, потворствуя сладости быть вне потока

собственной жизни, следить за её водоворотами, явственно слыша, как открывают шлюз... Он ни во что не вмешался, не предпринял ни малейшего противодействия, не проявил сочувствия или признаков скорби, но флиртуя с новенькой санитаркой, расплывался в улыбке плёнкой по непрозрачным водам, тоньше и тоньше... В конце концов, день своей гибели каждый вправе провести, как ему вздумается.

Терроризм, любовь моя

Прежде чем заняться взрывчаткой, он сварил кофе

В этой гостинице разрешалось пользоваться своей спиртовкой, если заплатишь за неделю вперёд и подпишешь правила техники безопасности

Ей запретили кофе — в её же собственных интересах, — но без утренней дозы «арабской порчи» в ней просыпалась только нижняя половина тела, жившая третий месяц как-то самостоятельно

Сегодня она была нужна ему целиком

Он налил ей кофе и сделал два бутерброда, улыбаясь про себя её как никогда здоровому аппетиту; самому ничего не хотелось

Затем тут же, на столе, среди остатков хлеба и сыра, протянул две чёрные ленты — одну себе и другую, длиннее на две ладони, для неё

Маслом, – сказала она в затылок ему,
 туго сажавшему в патронташи сигары шашек. –
 Смажь

Не следовало прерываться, не доведя до конца простое дело, но внезапное возбуждение было сильнее, оно всегда его подводило, они всегда брали его на слабо – эти смеющиеся с поволокой глаза перед его глазами

.....

Сцеловывая крошку из уголка её марокканских губ, он почувствовал, как меланхолично они раскрылись, повеяв сладчайшей бездной, им не изведанной и наполовину, и скорее узнал, чем услышал:

- Я и сейчас думаю, что наша встреча –
 это была чья-то ошибка, несчастный случай
- Катастрофа, поправил он, хмурясь. –
 Любовь это катастрофа. Крушение целого мира

Она отстранилась Он вернулся к работе

...Когда для финальной сцены всё было готово и он протянул ей венчальный пояс, взгляд её блуждал в небесах за окном, будто следил за птицей, будто искал дорогу, рука напутственно гладила огромный живой живот

Фиаско

Пану Когито

1

телефонный звонок застигает его врасплох заставляет вздрогнуть обрывает на полуфразе

он только хотел сказать что не жалует телефоны что нужно держать ухо востро в разговорах с безликими чревовещателями и что нельзя верить слову если не видишь глаз собеседника поворота его головы не слышишь его дыхания а разговаривать с пустотой и неживым предметом признаки сумасшествия

он один на один со своим кредо о не вероломстве

и всё-таки в этой битве а это неравная битва бой с тенью и затяжная осада слабейший он преисполнен

решимости проиграть

он молча снимает трубку

2

он сидит в привокзальном кафе

по телевизору самсунг в прямом эфире на всю страну и много дальше в храме христа спасителя отпевают первого президента россии пластиковый китайский стаканчик с польским капуччино амаретто прогибается под его сильными пальцами обжигая их в знак того чтобы с ним считались

это политика реальная зримая тотальная и бесстыжая политика наших дней

думает он

не отрывая глаз от экрана и пальцев от ободка стакана чтобы не отстать от времени и быть со всеми

самсоны не умирают когда сердце выходит из строя их поглощают другие самсоны с пожизненным сроком гарантии

в жизнь вечную в микрофон принимаю тебя поёт всероссийский батюшка

господи у меня же в три лев

понимает он с ужасом перед неведомым глотает остывшую благодать и разжимает пальцы

3

прокравшись в стан победителей

в порядке авантюрного опыта он пытается представить себе ход их мыслей и образ чувств

всё богатство и волшебство

внутренне содрогается он положительных ощущений

фиаско его оглушительно великолепно и как никогда убедительно

серебром высочайшей пробы звенели слова у меня в руках говорили о жизни такие вещи что горело сердце и щипало веки

я посмотрел за окно а там

золото и туман и дождь

Новый Антоний

«Вслушайся в твою последнюю радость». К. Кавафис

Когда, к вящей радости всех невинных, деятели из «Ъ» установили свою диктатуру, моя бывшая, примкнувшая к ним на последних (самое горестное, что – честных) выборах, серьёзно продвинулась и получила пост в местном партаппарате.

Началась эра возмездия.

Нас, убедивших себя счастьями и несчастьями в искуплении давних ошибок — стыдных грешков беспечных старателей демсвобод, история призвала к ответу.

Мои друзья – а врагов я по слабости не нажил – были первыми, кто ушёл, как говорили, «на Ъ»; одни – с непокорностью оскорблённых, прослыв изменниками среди пассивного большинства, другие – исполнив как должное трудную роль в новой великой драме, последние – целуя в слезах умиления руки своим убийцам.

(Жаль, если безумие помешало им насладиться триумфом возлюбленной справедливости!)

После друзей она позаботилась о моей семье... Я так и не смог объяснить детям, что стало с их матерью. Мне никто не сказал, что случилось с детьми.

И вот я один – на её неподкупной ладони, под участливым взглядом – лишённый всего, исключённый из жизни, неприкасаемый и ничтожный, возвращённый себе.

Отвратительный. Благодарный.

Море волнуется – три

Тёплый воздух на побережье пришёл с ночным ветром Вода поднялась Резче стала линия горизонта

Приезжий в мёртвый сезон ляпнув некстати «Домой... мой ад...» обмирает как поражённый громом

Мелко хлопает брючина Из пучины встаёт многорукая гидра судьба и нежно душит его в объятьях

Катаклизм

Три дня крутило и ломало, упругий воздух лупил наотмашь, дома содрогались в холодных ливнях. На четвёртый стихло.

Но люди... Посмотрите, что с людьми! Они просят прощения друг у друга.

Мукоморье

Пережитое

пережёванное

каша

клейкий мякиш

в увечных пальцах памяти-воровки начётчицы и затевалы детсадовской

безвкусной

нестерпимо глупой

неистощимой на фантомы

то - посмотри - какой-то тёмный дом

то дерево

старуха

мальчик

в чужом бреду бормочущий

там – чудеса там – чудеса там кто-то бродит
кто-то бродит
всё бродит
кто-то
не находит
места
кто-то
и кто-то
долгий
на ветвях висит

Ужгин

- Серёжа, здравствуй, - говорит он. - Только не бойся. Я воскрес. Понимаешь? Воскрес! Это такой кайф! Ты только не бойся, это я – Дима...

И Ужгин как живой встаёт у меня перед глазами. Я вижу, как он приглаживает свою жидкую бороду, мечтательно произнося: «Это такой кайф, понимаешь».

- Димка! Я не боюсь. Невероятно! Ты откуда звонишь?
- Я не звоню, Серёжа. Я воскрес в твоём телефоне. Это какие-то волны или что-то такое. Мне удивительно легко, я счастлив.

Я смотрю на экран мобильного: он светится белым.

- Извини, говорю. И вспоминаю:
- Извини, да. Мы опубликовали «Джаз на троих». Ты был против. Как бы бутлегом...
- Я знаю. Это ещё при мне. Ты забыл: я тогда жил у Виссариона.
- Точно. Я спутал... Что же с тобой случилось?
- Я умер.

- И всё?
- И всё, а что же? Ужгин смеётся.
- Ho... но всё хорошо?
- Всё прекрасно. Всё джаз!

Мы смеёмся.

- Тозику надо сказать. Он будет рад. Он тебя очень ценит.
- А ты?
- Мне нравятся твои последние стихи. Там уже нет Бродского, да? Жаль, что ты уехал...
- Мне было нужно.
- Мама твоя убивалась. Ты ей... покажешься?
- Нет. Это её совершенно убьёт. Сердце у неё в последнее время ни к чёрту.
- Как же ты? Хочешь скрыть от неё? Или от всех? Мне нужно молчать? Что ты думаешь делать?
- Сколько вопросов, Серёжа! Сколько опять вопросов... -Ужгин вздыхает. -А вначале было легко-легко...

В его голосе сквозь мечтательность проступает горечь — верный признак свершившегося воскрешения.

Мы очумело хохочем.

«... колебания поколения ...» Ян Сатуновский

С грустью смотрю, как уходят в трэш, китч и фарс мои конфиденты, с кем пролетели весёлые годы надежд и открытий.

Так же, должно быть, они видят меня отступающим в тень смирным шагом, с миной, как тара пустая, и взглядом тяжёлым.

(Время – вот говорят – движение после Большого Взрыва. Малым осколкам его, нам, возможно ли остановиться? Нет: разбегаясь, мы раздвигаем границы этого мира.)

Приходит друг и говорит: неправильно живёшь. И взгляд его горит, как финский нож.

Он водку пьёт одним глотком и чокается встык, и ходит кулачком его кадык,

когда смеётся он во весь прекраснодушный рот. Взрывоопасна смесь его острот

и терний. Полон счастья он, казня не по злобе — с избытком воплощён в самом себе.

Сетчатку жжёт его «житан», и как дарят добром – так правду режет он руки ребром.

А правда в том, что в доме ночь – попробуй доживи до света, если нож уже в крови.

Пьеска для

Смеркается. Все уходят. Во дворе остаётся старожил детской площадки слепой дедушка Мрак из шестой квартиры. Он широко зевает, снова и снова. Гулкие комья зевоты летят в середину двора и гаснут.

Здесь возникают слоны и тигры, умные собачонки в юбках,

девушка на трапеции с гибкой шеей, два атлета, фокусник, грустный клоун, капельмейстер, невидимые горнисты и шумная публика всех возрастов и званий —

ежевечерний аншлаг в стеклянном цирке дедушки Мрака.

В сумраке, там

Наказание? Да, пожалуй. Можешь назвать это наказанием. Возмездием. Как говорят: Бог простит – жизнь накажет. Вот наказала. Да.

Годы, с другой стороны, не щадят никого. Болезни. И всё же бывает светлая мирная старость. А у неё – ну да, как будто расплата. Было за что.

Онемел несправедливый язык. Отяжелел злокозненный ум. Ослабли тяжёлые скорые руки. Тиран заточён в своём подземелье.

В сумраке, там – что же мы видим? Больную мятежную душу: она клянёт вероломный случай, она не слышит своей судьбы. Тиран обернулся жертвой

слепых обстоятельств, новомодных боговвыскочек, нас.

Но мы же не боги. Поди докажи ей, что мы не боги! Что мы такие же, как она, и ничего изменить не в силах.

Почему же тогда это — мне? - она спросит. Что — мы? Найдёмся с ответом? Разведём руками? Повернётся язык произнести: наказание?

Место

В последнее время стали замечать, что он зачастил в кладовку.

То безо всякой надобности, как бы между прочим, порой и в шутку, заглянет на миг – и обратно.

То придумает себе там какое-нибудь пустяковое дело — и так это всё неотложно обставит, что бывшие рядом случайно испытывали неловкость, а знавшие это за ним — гадливость.

Он же не допускал вопросов.

Так дошло то того, что он мог запросто вдруг исчезнуть, без объяснений, в любой момент, и все уже знали, куда — в свою кладовку...

В конце концов полезли посмотреть — а у него там *место*.

Маятник

Представим себе человека, покидающего этот мир.

Сил бороться с болезнью совсем не осталось, но ум ещё крепок.

Он понимает:

уход его ничтожен — и, стало быть, страху не на что опереться; мир рядом с этим — велик вдвойне, и равновесие нерушимо.

Так уходить легко!

Но – дело не движется: смерть не приходит, и жизнь продолжается по своим законам.

После обеда

мир повисает не волоске.

Катастрофа неотвратима. Люди по-прежнему мелочны и ничтожны. А он – человек, виновник и жертва...

Жало отчаяния. Игла капельницы. Булавка судьбы. Острый перитонит.

Хуже некуда – уходить на этом, но от этого – куда бы ни уходить.

Узкое вечное

Павлу Настину

а «на самом-то деле здесь кто-то лежит?» так вопрос давно не стоит

памяти, желающей быть вечной (в приближении – всему вообще бренному), в качестве отправной точки необходимо нечто именно минимальное, холодное и пустое, то, что не способно к себе привязать, скорее – оттолкнуть, отпустить, ускорить:

гранит, плита, угол, несколько *совершенно условных* сакральных имён, масонское сочетание золота с пластиком, *уводящая* музыка и обряд *отправления*:

ничто в минуте молчания – большее, чем в псалтири,

в остальном это вечное - узкое

колея жизни я сам могила бога

Пальны

Энергия в руке такая –

и не хрустальный колпачок а жизнь в этих пальцах удержана столь властно что кажется отринута

блистаньем кожи выпуклостью вен разбегом складок самостоятельностью мига упорным взглядом

- как в напряжённой мысли.

шире самой широкой реки в тверди своих берегов моя жизнь

многое на её пути для меня невообразимое вобрала она легко

в себя в меня

и осталась в своих берегах продолжая течь во все стороны

Живая вода

зачем-то ему понадобилась работа и вот он едет ни свет ни заря в малознакомое ООО кто-то позвал должно быть

ему посчастливилось несмотря на давку даже сесть у окна что он не сразу заметил точно стал немного бесплотней чем прежде так что почти утратил и чувство комфорта

за окном проплыли несколько мест о сыне но он их не увидел потому что рано ещё и темно

темнота густая

отметил он про себя заливает всё вокруг без просвета автобус мог бы заехать в мутную реку или опуститься в океанскую глубину

где живут как-то иначе не требуя кислорода не нуждаясь в прощении в кромешной мгле

он выдохнул и стекло запотело

перед глазами стоял его мальчик как бы выхвачен из темноты и напуган возможным признанием

Dies Irae

На остановке почти никого

У мужчины в плаще

порывистый ветер

кидает галстук с плеча на плечо

Мужчина близоруко его поправляет

В стороне

на раскидистом

что это?

вязе

полыхает

встревоженный космос

густой листвы

Автобусов нет

И больше ничего не происходит

Пора

Андрею Тозику

Всему своё время. Приходит пора – и под ноги сыплются смерти, как спелые груши

Не остановишь ветви которые раскачал не ты

Но – тишина

Руки поджав юный натуралист стоит по колено в тайне в чужом саду

Отсрочка

Сегодня из-за дождя грязь месить на кладбище мы не поехали. Те двое, решили мы, нас ещё подождут.

А мы дождёмся погоды.

За весь день из дома так никто и не вышел. Один занимался любимой внучкой. Другой всё спал. Третий смотрел в окно и слушал воду, разлучавшую их неумолчно, как с теми двумя — земля.

Капля

Первыми что с ним не так заметили мама с дочкой, сидевшие напротив два перегона, пока он не вышел на кольцевой.

Точнее – дочь, которая только позднее, уже во всеобщем нарастающем хаосе кричала матери:

- Дырка, я тебе говорю, дырища на пол-лица! Да ты же сама, сама всё видела — уставилась прямо на него и неприлично пялилась всю дорогу. А он сидит, и хоть бы что. Ну хотя бы теперь признайся, мама!

Но мать в истерике всё отрицала, лупила дочь по щекам, называла идиоткой и повторяла:

- Спаси меня, дочка! Спаси меня, доченька! Ведь ты ж такая ещё молодая – ты чистая. Спаси меня!

Но уже каждый спасал себя сам — свидетельствовал, защищал, судил. И спасшихся оказалось немного. Совсем почти ничего — в вагоне метро, если, скажем, их рассадить, то ещё бы остались места.

(Справедливости ради заметим, что той безвестной, которой досталась последняя капля зла в этом мире — его неосторожная капля, разъевшая вскоре лицо ему самому, а затем и всё вокруг остальное, —

После ссоры

M. K.

Когда она уезжала я видел её далеко в поезде у окна уснувшей так безмятежно что деревья и облака и птицы слетались ей на лицо

Разговор в парке

Саше Артамоновой

За разговором стемнело Сперва налилась и уплотнилась зелень листвы словно чтобы сдержать пылающий натиск неба со всех сторон Затем — быстрый и кровопролитный бой с виду ангельских облаков по-над линией горизонта Наконец — мёртвая и безраздельная чернота кругом

Только два никому теперь не понятных голоса и окраинные светила двух сигарет гаснущие вразнобой — вот и всё что осталось человеку от человека

Цикл

1

Любовь-кукушонок:

опустошает сердце – не хочет ни с кем делиться, жадная до моей несладкой жизни,

тело целое легко поглощает, теснит мне душу.

2

отпаивал себя холодным чаем ночным — за окном — снегопадом время — отпускал — идти — поводья видишь же: вот оно — утро

сердце хлопало: тише тише

в горле и в простынях – мята и – уже не любил – и прежде – тоже – если всё-таки – отпустило

3

обнять

И

больше ничего

обнять

И

больше никогда

И

разомкнуть объятье

Почему любовь

почему любовь не надо любви это может быть всё что угодно кроме

ну например тревога восторг или спокойствие

над пропастью между людьми постоянно что-то порхает

Пророк

- Любовь – это вспышка ненастной ночью в осеннем поле, это, допустим, не тяга, но всё же готовность к боли. Я же не собран и слишком привык к уюту, да и рыхлое сердце не вытянет новой смуты. -

Он зашёл по-соседски за каким-то простым продуктом – и вдруг затрещал, как страхов моих репродуктор. То, со мною не сладив, душа призвала к себе пророка, чтобы осень встречать ей было не так одиноко.

.....

Не переступит больше его нога моего порога!

Живопись

Проступает на кофте красная краска. Откуда бы? Что такое с тобой случилось? Это – от Жени, от художницы, от Жени.

Ты ещё помнишь её? Женя Голант:

рассказывала про менструальное платье Глюкли, возила тебя в Комарово на дачу, картины свои показывала, смущалась

.....

Краска на кофте: живопись:

Женя.

Понедельник

То ли это музыка, снег и темнота, То ли, пока не видно, изменили маршрут, Но только я очнулся в чужих местах, И под окна подступала, мельчая, жуть.

Заходили люди, и ни одного лица Мой зрачок как олух не мог поймать, Мерным воркотом звучали их голоса, Но ни слова, что услышал, я не мог понять.

Это была деревня какая-то, или что, Или городская неведомая черта. Водитель тормозил, юлил и дышал в пальто. Чего он крадётся? Дорога чиста.

Снега невидаль, что ли, страшила его. Или темнота, разъедавшая снег, как соль. Долго ехали, бросали свет широко. Вдруг река скользнула накатанной полосой.

Мы – за ней, наводнили гулом поля окрест. И наконец выруливаем к кольцу. А на кольце нас встречает медью живой оркестр, И у флейты слёзы катятся по лицу.

подлесок тянется к верху

да знает меру

лес вымахал

стелет боярскими рукавами а бурелом? –

есть же и бурелом –

пылкий мемориал

лёгкий сарданапал

где чей шесток? -

падаль труха подзол –

и нет никаких сверчков

Новые песни западных славян (2004)

Она и город

Откуда этот город? Как начать Строку, чтобы такой закончить кляксой? Всю ночь неслась грохочущая рать Надменного варяжского аякса

Над головами тучных ариадн: Им нет руна – и только лабиринты Манят любителя сурьмы и акватинты, Да слезы истеричных гелиад...

Но плачущие здесь творят печаль, Которой путь далек и не измерен. Так ты пришла сюда. И я уверен: Ты любишь красное, с холодного плеча.

Как я сюда забрел? – Не в этом суть. Возможно, по ошибке. С тенью сросся, Я до сих пор в предутреннюю муть Боюсь смотреть и задавать вопросы...

Откуда этот морок, вещий сон? Весь город в ночь одну преобразился, Словно, в тебя без памяти влюблен, Он сам себе в беспамятстве приснился.

Ты, ты вскружила голову ему! Твоим дыханием ему сорвало крышу На пьяной ратуше. Она уже не дышит. Уже не плачет. Знаешь, почему?

Ты разбудила карнавал теней – Из самых темных и до света жадных. Они теперь стоят во всех парадных, Где ты жила, где ты живешь. Верней,

Где будешь жить. Разорвано дождем Кольцо до черноты сурьмленных башен. Послушай, ветер-плакса ни при чем. Отпущенный на волю – город страшен.

и легче воздуха,

Чернее височной хворости, невзрачней волоса,

Прозрачней ночного холода – под занавес четверга

Короста съела полгорода, как полпирога...

И дети набеги делали, как флибустьеры.

И я пропадал неделями, считая потери.

Ноктюрн

Ты говоришь во сне, не открывая глаз, – Я слышу каждый звук, отчетливо и чисто. Ты говоришь: «Пиши», даёшь в разбивку числа – И так по многу раз. Не открывая глаз.

Когда ты говоришь, лицо твоё – в тени, Где чисел этих ряд одновременно значит Словарь и календарь. Но он не мною начат. Ты говоришь не мне, твое лицо – в тени.

Твой сон всегда глубок. И это не Морфей Укрыл тебя своим крылом – а Персефона Тебя как тень саму во тьме иллюзиона Уводит в сто дверей, где бедственный Орфей

Царапает струну и слушать погодит Звучанье им самим напетого вердикта, И, невредима, шепчет Эвридика: «Не подходи, не подходи, не подходи...»

Я руку положу на твой прохладный лоб — Как будто на речной прозрачный донный камень — И в сон твой проберусь разорванно, кусками — И выйду из дверей, и поцелую в лоб.

И всякий раз, когда я вывожу тебя В мир белых простыней и ламп дневного света, Ты смотришь на меня и точно ждешь ответа, Подушки край, как сонник, теребя.

Пока ты ждёшь неведомо кого, А я живу, не ведая печали, Мы так близки — как крылья у того, Стоящего за нашими плечами, На букву «а» (не строчную, а в пол-Строки, как нота «до» на стане).

Но наших разговоров произвол Внезапным откровением не станет, Покуда два крыла его — одна На миг не умолкающая лира. И связь меж нами будет не видна, Поскольку это даже не струна, А тонкое движение эфира.

Март. Гроза

Нас разбудила ночью вспышка, И мы вскочили заодно, И посмотрели за окно. Там неба рваная покрышка Под ветром хлопала, и крыши Блестели, как заведено,

В дожде и молниях. За ними Мерцала вышками тюрьма, Там – кладбище, и дальше – тьма Огня движеньями сквозными Твоё вычерчивала имя, Чтобы меня свести с ума.

И я сходил.

За сигаретой. И запалил её – как знак, В надежде, что его, как знать, Ты, чьей-то близостью согрета, – Там, на краю чужого света, Сумеешь всё-таки признать.

И свод небес, и непогода Нам на двоих даны одни. Я не делю с тобою дни, Но это – наше время года, И торжество его прихода Пожару памяти сродни.

Не помню имён и не помню фамилий Рядом живущих, идущих, стоящих. Только тех, что меня давно забыли, Хранит моей памяти чёрный ящик. Их последние фразы — ряды многоточий (Неразб.) — мои наполняют строфы. Так дешифрует спасённый летчик Обстоятельства авиакатастрофы.

Список

1

В этом доме прокуренном, С подозрительной лампочкой, Где на кухне течёт, Мы с тобой бедокурили И острили запальчиво Не за собственный счёт.

На часок приходили мы, Пропускали по маленькой. Как дела? Что вообще? Отвечали обидное С хитрецой и каналинкой, Без обиды в душе.

Дикой скороговоркою И всегда прозаически Говорили стихи. Собирали на горькую Всё, что было наличности. Уходили, тихи.

И мотались за спинами Тени наши осиные Длинным списком потерь. И ступал осторожненько По уюту берложьему Одиночества зверь.

2

Потеряли и пропили Гору мелких монет, Приблизительно пробыли Мы с тобой десять лет. Помотало и пробило: Было – не было – нет.

Дым валил коромыслами Из дверей, из щелей. Пили с минами кислыми, Горше завтрашних щей. Собиралися с мыслями, Раз от разу страшней.

Забавлялись обманами, Как дежурной игрой. С синяками и ранами, В самом сердце порой, Расходились не рано мы, А полночной порой.

И в ночи, там где памятник Топчет жиденький свет, Бил над церковью маятник: Нет как нет.

Страна теней

Ты говорила на семи ветрах, Как на семи невнятных языках. Молдавия, я жил в твоих холмах.

Меня душил твой азиатский быт, И по утрам будила дробь копыт. Теперь я не могу тебя забыть –

И ночью просыпаюсь, сам не свой, Увязнув провалившейся ногой В кладбищенской тропиночке кривой.

Один дружок и трое стариков Умножили трофей твоих песков. А я пустил слезу и был таков.

Любовь моя – Господь храни твой день С чужим ребенком, в гуще деревень! – Но ведь и ты не более чем тень.

Ты от меня за тысячью границ, За миллионами погасших лиц, В двух перелётах полуночных птиц,

Которые стремятся – наугад, На первый взгляд, – в твой тёмный тихий сад, Где на ветвях, не тронуты, висят,

Как яблоки, мои семнадцать лет, — В страну теней, в страну, которой нет,

ТРИ ИСТОРИИ

Татьяна и Вадим

(девичья)

Ой, девчонки, чего знаю! Почему, думаете, Татьяна такая грустная?

Полюбила она парня, Вадима, небогатого, но серьёзного. А он её замуж зовет.

Ой, девчонки, чего знаю! Почему, думаете, Татьяна такая грустная?

Ходит Вадим работать в ночную смену, а её с собой не берет. Она спрашивает, скажи хоть, что за работа, а он ей не говорит.

Ой, девчонки, чего знаю! Почему, думаете, Татьяна такая грустная?

Выследила она Вадима, прошла украдкой до самой работы. Он, оказывается, сторожит одну дорогую автостоянку. Заходит Татьяна в его сторожку: а вот и я! здрасьте! А он ей не рад, стесняется.

Ой, девчонки, чего знаю! Почему, думаете, Татьяна такая грустная?

Взял её в другой раз Вадим с собой. Вдвоём веселей, конечно. Переделали они всё, что можно. И заскучала Татьяна. Села к окошку, говорит: - Крутые ты, Вадик, машины сторожишь. — Да, отвечает Вадим, мне в жизни столько не заработать. — Хоть бы разок на такой прокатиться, - и смотрит ему в глаза. — Хорошо бы, отвечает Вадим и отводит взгляд — закончим, мол, этот пустой разговор. А Татьяна не унимается: прокати и прокати! — Как можно? - удивляется с неё Вадим. (Нет, ну правда!) А она: - Прокати и всё, если любишь. Он психанул, говорит: - Хочешь, чтоб меня посадили, иди катайся, а я и водить-то не умею. Поссорились, в общем.

Ой, девчонки, чего знаю!

Почему, думаете, Татьяна такая грустная?

Затаила она с тех пор обиду на Вадима. Проучу, думает, женишка. И точно. Подговорила брата своего, Сашку, тот ещё обалдуй, — и пока они там с Вадимом в сторожке баловались, он увёл самую крутую тачку, «Аудио», кажется. Увести-то увёл, да только недалеко уехал. Гололёд, не справился с управлением и свалился с моста. Погиб на месте.

Ой, девчонки, чего знаю! Почему, думаете, Татьяна такая грустная?

Боком ей эта затея вышла. Машина-то, оказалось, Дюшина была, мафиози нашего. Была, да сплыла. С кого спросить? С Вадима, конечно. Наехали на него, что называется, избили до полусмерти. Деньги гони, мол, а не то сам знаешь, что будет. А откуда у него такие деньги – семьдесят тысяч!

Ой, девчонки, чего знаю! Почему, думаете, Татьяна такая грустная?

Вот ведь судьба у человека! Брата потеряла по своей дурости, а теперь вообще неизвестно, чего дальше ждать. И Вадим ходит сам не свой, понятно. Какая тут любовь... Про Сашку-то он сразу всё понял. Но простил Татьяну. Зашёл к ней как-то вечером и говорит: - Ты не виновата, это я во всём виноват. – Она ревёт. – Прости ты меня, говорит, ноги ему чуть не целует. А он ей: - Да что ты меня, как покойника, оплакиваешь. Всё будет хорошо. Она говорит: - Давай в милицию заявим. – О чём, он говорит, не смеши ты меня, это же мафия. – Но что-то же надо делать, она говорит. – Ну, тебе, говорит, уже ничего делать не надо, я сам. – И уходить собирается. – Куда ты, на ночь глядя? Оставайся. – Нет, говорит, мне надо. Поцеловал ее, как сестру, и ушёл.

Ой, девчонки, чего знаю! Почему, думаете, Татьяна такая грустная?

Исчез Вадим. Как в воду канул. Она его в тот вечер последняя видела. Нет нигде. Ни трупа, ничего, как сквозь землю. Она в розыск подала, объяснила всё. Так и так, мол, денег требовали, угрожали. А что милиция? Может, он уехал, говорят. Надоела ты ему, он и дал дёру. Вот сволочи! А женское сердце всегда ведь недоброе чует.

Ой, девчонки, чего знаю! Почему, думаете, Татьяна такая грустная?

Лица на ней нет, через минуту в обмороки бухается. Страшная стала, как смерть. Думала уже руки на себя наложить. Но потом, чувствует, что-то месячных долго нет. Может, от нервов, думала. Но – нет и нет. Она к врачу. И что вы думаете? Пятая неделя уже! Как «от кого»? От Вадима, конечно.

Ой, девчонки! Почему, думаете Татьяна такая грустная?

Песня-заплачка о напрасной любви

Писатель жил этажом выше, а она убиралась в подъезде — мыла площадки, лестницы и в лифте, вытряхивала коврик у его порога (следы он оставлял аккуратной «ёлочкой»). Целовала коврик украдкой.

Ты не бей меня, мама-мамочка, я писателя люблю!

Мама водила её в больницу, а писатель гулял со своей собакой. Мама хотела пройти незаметно, а она подбежала и поздоровалась. И сказала: «С Чарли гуляете? А видели, как у вас на площадке чисто?»

Ты не бей меня, мама-мамочка, я писателя люблю!

Писатель выписывал газету «Культура», которую бросали в его почтовый ящик. А из прорези сверху трудно достать газету. Тогда она сломала замок и открыла дверцу, поднялась к нему и сказала, вручая почту: «Кто-то открыл ваш почтовый ящик».

Ты не бей меня, мама-мамочка, я писателя люблю!

Мама уходила в ночную смену. У писателя горела лампа и было тихо. Она доставала мамино платье, чулки и туфли, заводила пластинку Софии Ротару и танцевала с писателем танго.

(Он стучал в батарею, но она прекращала не сразу.)

Ты не бей меня, мама-мамочка, я писателя люблю!

По теплу писатель стоял на балконе, пускал колечки синего дыма и щурился, будто его смешили. А они с мамой натирали газетами окна, и мама больно ущипнула её: молчи, мол. Но как тут смолчишь? И она запела:

Ночь была с ливнями, И трава в росе. Про меня «счастливая» Говорили все. И сама я верила, Сердцу вопреки: Мы с тобой два берега У одной реки. У одной реки.

На рассвете примчали две «скорые»: у него инфаркт, у неё истерика. Развезли их в разные стороны, его в кардиологию, её в психиатрию. Мама не знает ни сна, ни отдыха, ходит к обоим – к ней по чётным, к нему по нечётным.

Петров

Его звали Петров, и он её любил.

А она человек общительный, и в друзьях у неё полгорода ходит. Не считая близких, которые по четвергам у неё пьют чай и ведут беседы. Она всё хочет им его показать, только он ни в какую. В четверг, говорит, Боженька змей и гадов придумал. Лучше ты ко мне в пятницу приходи.

- Почему ты не любишь моих друзей? спрашивает она его.
- Потому что я тебя люблю, отвечает он.

У неё дети, два пацана, погодки. Они его зовут «доктор Петров», а он их просто «твои». И что характерно: младшего к телефону так и тянет. Звонит ей Петров – и слышит: - Кого вы хочете? – Мать твою! - гаркнет Петров. Лёшка в плач.

- Почему ты не любишь моих детей? спрашивает она его.
- Потому что я тебя люблю, отвечает он.

Однажды собрались на пикник. День рождения Феликса. Она и его приглашает. Петров спрашивает: - Феликс тоже будет? – А как же, смеётся она, день рожденья-то чей? – Не поеду, говорит Петров, он мне вот уже где.

- Почему ты так не любишь моего мужа? спрашивает она его.
- Потому что я тебя люблю, отвечает он.

С Феликсом они в одном НИИ. Только Феликс – вон где высоко, а Петров, как пришёл мэнээсом, так и теперь. А Феликс моложе. Энергичный и локти острые. Феликс по заграницам ездит, а Петров мэнээс, Феликс премии получает, а Петров мэнээс, Феликс – докторскую, а весь институт знает, что её Петров написал.

- Почему ты себя не любишь? спрашивает она его.
- Потому что я тебя люблю, отвечает он.

Ему к сорока. Живёт в общаге. Быт не устроен, жизнь тоже. Друзей нет. Мама в Чернигове, сто лет не был. Всегда при ней, неделю не видеть – страшная мука. А кроме неё мир для него – пустое место.

- Почему ты любишь только меня? спрашивает она его.
- Потому что я люблю тебя, отвечает он.

Такая история.

Cloudy day blues

В день, когда небо было похоже на карту мира, Ты сказала: Почему с нами ничего не происходит?

В день, когда небо было похоже на карту мира, Ты сказала: Почему с нами ничего не происходит?

Со всеми что-то случается, только не с нами.

В день, когда небо было похоже на карту мира, Ты сказала: Мы живём в эпицентре торнадо, в самом его глазу.

В день, когда небо было похоже на карту мира, Ты решила, что мы живём в эпицентре торнадо, в самом его глазу:

Всё вокруг рушится, и только у нас тишь да гладь.

Гибнут леса, вымирают народы – а у нас тишь да гладь, СПИД свирепствует, на всех не хватает пищи – а у нас тишь да гладь, Распадаются семьи, наркомафия крепнет – а у нас тишь да гладь, Мир то и дело меняет свои очертанья – а у нас тишь да гладь, тишь да гладь.

Я хочу быть со всеми вместе, милый, сказала ты В день, когда небо было похоже на карту мира.

Я хочу, ты сказала, почувствовать – как им живётся В дни, когда небо похоже на карту мира,

Стать частицей этой подвижной карты...

Ты ушла, ты не хлопнула дверью: была и нету – В день, когда небо было похоже на карту мира.

Ты не хлопнула дверью – ушла, тишину не нарушив Дня, когда небо было похоже на карту мира.

Ты ушла – вот что с нами тогда случилось.

И назавтра, не знаю, как ты, а я испытал в полной мере, Что такое – когда гибнут леса, вымирают народы, Свирепствует СПИД и на всех не хватает пищи, Распадаются семьи, зато наркомафия крепнет И мир то и дело меняет свои очертанья.

Находясь на развалинах...

Находясь на развалинах Империи,

хорошо быть туристом, который приехал сюда

в одиночестве или с подругой, который, отчаявшись изменить сюжет своей неизбежной драмы, решил, по крайней мере, ненадолго, сменить декорации, так сказать, подобрать посветлее задник, которому, собственно, наплевать на эти развалины, что он и делает время от времени себе под ноги;

хорошо быть также исследователем (историком, археологом, искусствоведом), которому вовсе не наплевать на эти развалины, потому что, во-первых, он рассчитывает найти в них массу занятных деталей, упущенных его коллегой из Массачусетского института, во-вторых, он не раз убеждался, что плевать в такие колодцы себе дороже (уже потому, что за это платят дурные деньги. Не за плевки, естественно, а за интерес к сухим колодцам), и в-третьих, он, чёрт возьми, в экспедиции в таком возбуждающе гибельном месте, куда постоянно, как мотыльков на огонь, влечёт толпы туристов с подругами и без них, а кроме того – местные жители, особенные печальной красой, осколки Империи, что называется, которых и следует изучать, по большому счёту;

хорошо быть просто экскурсоводом, хорошенькой девушкой, у которой за плечами два курса, скажем, истфака, старшекурсник, уехавший этим летом на море с ассистенткой кафедры физкультуры, больная мама в родном нелюбимом городе да платье на сломанных плечиках в местной гостинице без названия, куда хорошо бы вернуться с кем-нибудь из сегодняшней группы, молодым и при деньгах, чтобы бросить всё это, эти кругом развалины, везде одни развалины, к дьяволу, и завтра же улететь за мамой, поселиться всем вместе в его небольшом, но уютном доме у моря, растить детей, поливать цветы и помнить из исторических дат только день этой встречи;

плохо быть частью этих развалин, к примеру, диваном, который, в окружении красного канта с табличкой «Не садиться» на трёх языках, давно забыл свои интимные обязанности и приличествующие отделке ампир манеры, опошлился и, как парализованный дон жуан, провожает потёртым взглядом зады туристов;

плохо быть куском лепнины, купидоном или химерой, с одной стороны, бесспорно, повезло, что не растёрли в пыль, но с другой, всё же неловко перед собратьями, которым повезло гораздо меньше, что, если вдуматься, уже не столь бесспорно, поскольку само существование уцелевших представляется им абсолютно бесцельным, что совсем уж как-то по-человечьи, нет, тяжело;

плохо быть фотографией на стене над диваном, потому что все проходящие, в конце концов, смотрят исключительно на тебя, тычут пальцами, как самые близкие родственники, спрашивают экскурсовода, подлинная ли ты, и, прищурившись на мгновение, наконец находят, то, что и запомнится им на долгие годы, — сходство «этого мальчика в первом ряду, на коленях» с соседским мальчишкой (собственной дочкой, внучкой, первым учеником, просто кого-то напоминает);

плохо быть самим этим мальчиком-юношей-молодым человеком-господином в шляпе-стариком в каталке, который не помнит точно, где стоял его дом, но, да-да, где-то в этом районе города, который тоже, в каком-то смысле, часть развалин, увезённая в детстве в благополучное место и утерявшая, среди прочих потерь, и место в общем ансамбле (слева-справа), и язык, на котором ей называли когда-то предметы, стоящие тоже не на своих местах, и самое право вернуться сюда через парадное, а не во флигель, как водят туристов, которого и отличает от остальных в группе лишь смутное подозрение, что всё здесь было иначе, не так, как рассказывает эта девочка.

Сейчас мне снится снег. И снится дом — не здание, а детство, фундамент жизни. Мёрзлая земля, зима. Её приход в Молдавии всегда был поздним — так запаздывали вести, хорошие, плохие — всё одно. Мне снится снег. И старый виноградник (в декабре лоза стареет, сбрасывая зелень и превращаясь в чёрные жгуты, как руки мумии).

Я чую запах мертвой листвы — она уже хрустит, не шелестит, под лапами дворняги, бегущей длинным рядом. Снег идёт. И я иду за ней. Мелькает строй пустых шпалер. Собака что-то ищет, обнюхивает листья, то замрёт, то вскинет голову, то поменяет ряд — бежит, бежит, иду за ней, а снег всё сыплет, и уже наполнил воздух до самых туч, но землю только чуть припорошил.

Я провожу рукой над верхнею губой и ощущаю

пушок взросления. Он точно первый снег: такой же мягкий и такой же редкий. Так значит, мне... пятнадцать? шестнадцать? школа? бабушка жива? любовь ещё нечаянно нагрянет? И я уеду, ею оглушённый... Не потому ли я сейчас брожу по винограднику, что не успел проститься ни с ним, ни с кем? Ни с этою дворнягой. Но где она?

Её простыл и след... Простыло всё: земля и виноградник, орешник на холме и южный ветер, простыли птицы – звука их не слышно. Мой слух остыл, и зрение, и память. Снег падает отвесно, как стена, вдруг уплотняясь, не пуская дальше. Я слышу вздох, и вижу, как тепло, вот только бывшее моим, проходит сквозь стену сна, а я, уже чужой ему – я остаюсь всегда по эту сторону..... Здесь осень. По утрам ещё темно. В окно глядишь, как в бездну. Дождь точит стёкла. Судя по всему, ещё мы долго снега не увидим... Но с каждым днём всё выше ртуть. На рынках растёт в цене молдавский виноград. И этой ночью время отступило на шаг назад, на час. На зимний лад пойдёт теперь у нас. Зима сама уже в пути. Немного запоздает, но всё ж придёт и свежею газетой расстелет снег за окнами – читай любые новости, ищи свои следы среди примет, имён и фотографий ушедших из дому вчера и двадцать лет

Птица села на залитый солнцем луг

не объявлявшихся. Найди себя, верни!

По лугу мягко пригнувшись стремительно не торопясь поводя ушами замечая малейшие перемены света и ничего кроме огромной коровы дремлющей чуть поодаль хищно крадётся рыжая кошка

воображая себя пантерой

Поодаль в одном броске пантеры от кошки лежит пожилая корова Прислушиваясь к тому как неспешно зреет в ней вечернее молоко она то и дело вздыхает Ей мал этот луг и всё здесь мелко трава и цветки повилики вредные мухи птахи и глупая кошка возомнившая о себе бог весть что Корова вздыхает она мечтает быть русоволосой девушкой в лёгком платье которая по вечерам приходит доить корову жить в домике на дальней окраине луга с двумя стариками и рыжей кошкой носить на дорогу молоко и клубнику ждать смуглолицего мотоциклиста из города

Русоволосая девушка скинув лёгкое платье сидит у зеркала и удивляется своему красивому телу солнце гладит её золотые плечи охальник ветер норовит подхватить под мышки и унести далеко-далеко отсюда в высокий замок девичьих грёз где живут только вольные птицы птицей девушка хочет быть расправляет крылья отдавшись ветру взмывает парит над домом лугом и лесом тополем у дороги быстрым промельком отражается в никеле мотоцикла на обочине в меди коровьего колокольца в опалах кошачьих глаз и птица птицей опускается на залитый солнцем луг

Птица на золотом лугу хочет быть птицей на золотом лугу

О недосягаемый совершенный вид!
Тебе пою эту песню.
Из несостоявшегося вчера,
из нескончаемого сегодня
зову твоё лучезарное завтра!
Вижу, вижу его приметы вокруг себя —
сжимается их кольцо.
Слышу, слышу его нарастающий гул —
и дрожу, словно мальчик.
...Вспоминаю себя первокурсником, филологию изучающим:

ночью штудировал книжку по морфологии — труднее всего давались глаголы с их грамматическими категориями, — под утро, как водится, задремал и... едва проснулся. Прибежал, а экзамен идёт полным ходом. Стоят у аудитории мои товарищи, волнуются, прислушиваются к тому, что творится за дверью. И сейчас, как тогда, слышу строгий менторский голос, экзаменующий кого-то в видах глагола:

- Он: что делал? что сделал?
- Она: что делала? что сделала?
- Они: что делали? что сделали? Принимаю эти вопросы на собственный счёт: совершенен несовершенен ли я в своих поступках?

Трепещу, ожидая очереди, читаю книжки, иду на голос. Не боюсь опоздать, но боюсь ничего не ответить, когда откроются двери, и строгий голос спросит обо мне уже в прошедшем времени:

Ты: что делал? что сделал?
И переэкзаменовки не будет.

Вдоль по солнечной дороге едет молодой водитель. Он ведёт машину мягко, аккуратно, не спеша. Лето красное в разгаре, день, похоже, что воскресный, час десятый, ветер южный, двадцать градусов тепла. Хорошо просёлком ехать! Позади остался город, впереди – пять километров, если ехать по прямой. Тишина вокруг! Щебечут птицы, да трещит кузнечик, да пчела, бывает, стукнется в стекло. И ни души. Улыбается водитель, молодой и симпатичный, он одной рукой баранку крутит, а другой рукой дирижирует себе же: он свистит, слегка фальшивит, но зато какие трели между прочим выдаёт! Потихонечку к зениту набирает солнце силу. Отражается в обшивке, фары тонко золотит.

И машина, точно песня, серебрится и играет, хоть и чёрная по цвету, и пугающе тиха. Катафалк – ну что за имя, в самом деле, что за участь! Но за день такой возможно всё снести и всё простить. Как положено по службе, катафалк слегка печален, потому – при исполненьи он сегодня и гружён. Там, в прохладном полумраке гроб качается, хрустальный оттого, что так играет в брызгах солнца красный креп. Улыбается покойник, тоже молодой, красивый. Он почти на свете не жил – отравился от любви. А теперь, как на свиданье, причесался, приоделся, и костюм на нём нарядный, и ботинки на шнурках. Он торопится как будто, переполнен встречей скорой, и от счастья засыпает, и часы его стоят. «Спи, ему природа шепчет, ни о чём уже не думай, мы тебя не потревожим я и девушка твоя. Только этот день запомни! Я дарю тебе на память солнце, птиц, дорогу эту. Красоту. И тишину».

Хорошо сегодня, правда! И за что такое счастье? Только здесь оно возможно, там — не будет ничего. Едут, едут, едут двое, не попутчики, но всё же вместе едут, двое, двое. А вернётся лишь один.

Вернувшись из клиники он долго ходил по комнате трогал предметы и улыбался улыбкой священника в сумраке исповедальни

С этого дня он будет ложиться спать не выключая света

Неделю назад он побывал за гранью жизни и теперь знал что вещи смертны Не человек

Михайлов С. Ю. Жизнь во все стороны. – Калининград: Капрос, 2012. – 71 с. – (Б-ка Правительства Калининградской обл. Калининградская поэзия). Тираж 500 экз.

© Калининградская областная научная библиотека, 2012